

Юлия Золоткова

Из детства, или Жить не страшно

Автобиографическая проза

Посвящаю родителям

1

Я начала осознавать себя с шести месяцев. Первые воспоминания детства — это деревянный стол с бортиками с трех сторон, где меня пеленают. И пеленают других детей: быстро, уверенно. Это я в поликлинике, когда делали прививки. Прививок я не помню, только одеяльце бело-зеленое, на нем белочка и зеленая ленточка.

Когда мне было девять месяцев, маму впервые положили в психиатрическую больницу. Я тогда ощутила себя очень маленькой в просторах темно-синего неба. Вся сжалась. И потом, когда мама заболела, мы с папой ощущали себя совсем одинокими, как будто сиротели. Но тогда же привязывались друг к другу невидимыми нитями.

Когда мне было три года, мы с папой и мамой ездили в Евпаторию. Ничего не помню: ни моря, ни пляжа, только какие-то деревянные домики, улочки. К тому же времени относится воспоминание огромного треугольного балкона, выступающего наружу, и с него — даль. Мама говорит, это были Красные Пахры (под Москвой). Там мы пили чай, там было кресло-качалка, и еще мы кормили белочек с рук. Там было очень хорошо, просто восторг.

Если я почти не помню. Был какой-то резкий зеленый свет и какой-то резкий запах. И еще кровати помню, пол, нянечку в платочке... А когда я уже ходила в садик, то как-то ранним утром увидела огромный клоч темно-синего неба и на его фоне — часть нашего бежевого садика. Свет фонарей был уже не зеленый, а желтый, очень уютный... тогда я впервые ощутила, что жить не страшно.

Из раннего детства помню, как папа катал меня на руках «самолетиком» и я смеялась от ощущения высоты. Позже он учил меня драться и давать сдачи, уметь постоять за себя. Вообще, он воспитывал во мне мальчишеские качества: учил вырезать кораблики из дерева, собирать грибы, ловить рыбу. Папа мечтал о сыне, а родилась я. Но он очень любил меня. И всегда, всегда помогал мне по жизни.

Садик я помню очень хорошо. Однажды, когда мы играли на улице, Юра Узиков бросил мне в глаза песком. Я встала плотно на обе ноги и стала демонстративно кулаками вытирать песок из глаз. Он сначала еще баловался — мальчишки также бросали в девчонок песком, — а потом понял, что сделал что-то не так, стал рядом со мной и спросил:

Юлия Золоткова — родилась в Северодвинске Архангельской области. В 1989 году переехала в Свердловск. Окончила Уральский государственный университет (факультет искусствоведения и культурологи). Была внештатным корреспондентом газет «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «Подробности», «Областная газета», писала статьи о екатеринбургских художниках. Публиковала научные статьи и статьи по искусству в журналах «Вопросы культурологии», «Известия УрГУ», «Архитектон», «Театральный сезон» и др. Автор нескольких поэтических книг.

— Помочь?

Так виновато-виновато. Я сказала:

— Не надо.

А он все стоял и стоял рядом, и мне было от этого хорошо...

Я лечила деревья. Перебинтовывала сломанную ветку бинтом и разговаривала с ними как с живыми, мне никогда не было с ними скучно. Помню дырку в заборе, оттуда был виден мой дом. Иногда я пролезала через нее туда, по ту сторону садика, там тоже были деревья, дорога и «мусорка». Но убежать домой мне никогда не хотелось, я знала, что за мной придут. Иногда через эту дырку, уже потом, классе во втором, я лазила в садик, но как «домой» и обратно — домой. Это была моя территория. Так, наверное, я никогда не торопилась умереть. Я знала, что за мной придут.

В садике у нас были занятия: математика (счет), рисование и что-то еще. Помню, у меня получался счет. А днем у нас был «сон-час». Раскладушки ставили рядом друг с другом. И был у нас в группе мальчик Миша, который лазил в «сон-час» девочкам в трусики. Это было очень приятно. Так лежишь себе, делаешь вид, что спишь. А он из-под своего одеяла заберется под твое, потом в трусики и погладит так осторожно и ласково... Мишу не выдавали. Он был красив какой-то соблазнительной, запретной красотой. Однако в садике мне нравились другие мальчики, так, чтобы серьезно. Пришел к нам в старшую группу новенький мальчик. Прическа была красивая, волосы не короткие, а такие, как стрижка «сесун» у девочек. Был он какой-то внутренне уверенный, спокойный. Мы стали дружить: моя подруга Таня Анучина, еще какой-то мальчишка и мы вдвоем. А познакомились мы с этим мальчиком во дворе садика. Мы тогда все в логопедической группе были: кто «р» не выговаривал, кто «ш». Воспитательница-дефектолог нас «представила»:

— Это Саша. Теперь он с вами будет играть.

И ушла. Мы сказали:

— Пошли, — и стали играть. Играли во что-то подвижное — догонялки, прятки...

К ранним вербальным воспоминаниям относится:

— Мама, ну у нас правитель такой, на «ш», вспомни.

— Какой?

— На «ш».

— Ну какой?

По телевизору или с кем-то в разговоре:

— ...Леонид Ильич Брежнев...

— Ну вот, на «ш-ш-ш...».

До пяти лет мне снились цветные сны. На белом фоне розовые слоны, желтые львы и кто-то фиолетовый. Потом, после первого сексуального любопытства пятилетнего возраста, уже не снились. Когда мама водила меня в садик или еще куда, мы, бывало, играли: учили слова, счет до 100 и далее, русский алфавит, потом английский, счет по-немецки и по-английски до 10. Так и вижу, как я иду с мамой, верчусь, прыгаю и повторяю: х, у, z.

Еще из садика. Был какой-то праздник: ставили елочное представление. Мне поручили роль лисички: еще такой костюм был пушистый. Я там по роли всех обманываю, но в конце концов прибегаю с колокольчиком и говорю:

— Я лисичка, рыжий хвостик, к вам на праздник пришла.

И каюсь. И стою я на вечере, прошу прощения, а у самой слезы трехгрошовые, потому что я ни в чем не виновата... потому что роль такая глупая... а все хлопают, всем нравится...

Для меня было лучше вытерпеть наказание, чем просить прощения, это мне казалось чем-то стыдным. Как-то раз я назвала Юлю Обиход «паршивой», а она наябедничала своим родителям. А ее родители сказали моим родителям. Тогда мои родители стали от меня допытываться, что же я такое ей сказала. И я первый раз в жизни соврала. Я очень не хотела перед ней извиниться и соврала, что сказала «ненаглядная». Родители тогда не поняли, что плохого в этом слове, и дело как-то замялось. Но мне было очень стыдно за эту ложь. Потом

Юля стала придумывать прозвище от моей фамилии и назвала Золою. А мне было не обидно, потому что не похоже, а прозвища-то и не придумать, все равно красиво получается: Золото, Золотко...

Выпускной вечер в садике я праздновала дважды. С группой логопедической, старшей, и со своей. На ненастоящий вечер пришли мама и бабушка. Бабушка приехала из Люберец, мы говорили — из Москвы. Все были красивые. Мне очень туго завязали хвост. Был чай, и так хотелось плакать. Мне было шесть лет. Мы сидели за маленьким столиком втроем и пили чай, и так было грустно, как будто детство кончалось. Песню какую-то пели типа «Журавли» Бернеса.

В садике я плохо рисовала. А Нагибины Олег и Слава, близнецы, рисовали очень хорошо, и Люда Железняк (потом моя школьная подружка) тоже рисовала хорошо. И мне нравилось, как они рисовали. Я подолгу стояла рядом и смотрела, как рождается рисунок. Рисовали оленя. А теперь я пишу о художниках статьи.

Еще очень хорошо помню планировку того места, где жила. Дом, дорогу в садик, это буквально 5–10 минут от моего дома, за садиком — школа. Справа магазины: «Двина» — торговый центр, зоомагазин, булочная, кафе «Минутка», дальше к школе «Овощной». Между «Двиной» и «Хлебным» — киоск «Союзпечати». Там я, уже в школе, покупала календарики и коллекционировала их.

В двадцати минутах ходьбы от нашего дома был дом моей двоюродной сестры Иринки, моего двоюродного брата Миши и тети Риты. Они меня часто брали к себе, когда мама болела, но это помню, когда была постарше. Все мое детство мы жили очень дружно.

2

В мое последнее лето перед школой мы ездили на море, в Мариуполь (тогда Жданов), к моей троюродной сестре Эльвире. Это было яркое впечатление, о котором я часто вспоминала. Море было зеленоватое, ходили купаться мы под вечер, когда спадала жара и над морем нежно горел розовый закат. Можно было долго смотреть на море, а оно волновалось и волновалось. Потом мы вытирали мокрые волосы полотенцем и с каким-то покоем и радостью возвращались домой. После этого причащения морю все остальное казалось таким неважным. Молча и отрешенно мы шли обратно и осознавали, где мы, только у Эльвириного дома. В Жданове даже сам воздух был пропитан ожиданием. Томление, нежность были разлиты в воздухе. Но, однако, у этого томления оказался горьковатый привкус.

Эльвире не разрешали купаться в море, она болела гемофилией, и мы врили ей, что ходили в баню. Только мне было от этого особенно тоскливо и стыдно. Эльвира была старше меня и уже училась в школе, и училась она на одни пятерки, что мне постоянно подчеркивали. Так нас, еще не подружившихся, противопоставили друг другу. И мы отнеслись друг к другу настороженно и даже враждебно. Когда нас фотографировали на море, фотограф дал Эльвире мой маленький круг, а мне ее большой. Так мы и получились на фотографии: она скисшая, а я веселая. Дальше — больше. Когда мы ели черешню, Эльвира предложила сыграть в «кто быстрее», и я свою черешню мигом уничтожила, а она потом ела медленно, растягивая удовольствие и явно издеваясь надо мною. Такого коварства я не ожидала и глотала слюнки. Но когда нам в Жданове подарили двух красивых немецких кукол, я назвала свою куклу Ириной, в честь моей младшей двоюродной сестренки, потому что любила ее больше. Такова была детская месть. Только позднее мы с Эльвирой начали переписываться и встречаться, словно старались додружить то, что не додружили в детстве.

В Жданове мама рассказала мне сказку о Снежной королеве. Мне очень понравилась Герда, ее любовь. Помню парк на склоне холма, куда мы поднимались по длинной лестнице вверх. Вокруг были очень красивые растения, было лето, а мама рассказывала о метели, увозимом Снежной королевой маль-

чике и о долгом пути Герды к нему, о том, как она растопила его замерзшее сердце. И я постигала нечто большее. Мне было так хорошо, так радостно замирало сердце в груди, и я задыхалась от любви и восторга, словно легкие наполнялись настоящим пузырящимся воздухом, как паруса ветром.

Когда же мы возвращались из Жданова домой, то на вокзале долго ждали поезда и читали «Дети подземелья» Короленко. Было холодно, бесприютно, и мне казалось, что это мы сами — дети подземелья, несчастные, бедные, голодные. Но что-то уже жило внутри меня, поднимая над бесприютом. Возможно, это было чувство любви.

А когда на обратном пути в поезде мальчик, мой ровесник, сын одной маминой знакомой, позвал меня в коридор купейного вагона и начал, кривляясь и краснея, на стекле рисовать кружочек с дырочкой:

— А у женщин что-то есть... — а потом схватил и поцеловал мне руку, я вспыхнула и вlepила ему пощечину. Это было так не похоже на ту любовь, о которой я узнала в Жданове, что мне было обидно до слез.

3

Семь лет были переломным моментом. Появилось терпкое чувство горечи и надежды (как осенние цветы на вкус, если, например, львиный зев пожевать). Первого сентября, день похода в школу, лил дождь, было сыро, но очень ярко: белые фартучки, белые босоножки, белые колготки, банты белые... Нас привела в класс полная белая учительница в пестром бело-голубом платье. Я ее любила. ...Евдокимовна. Светлана Евдокимовна, кажется. Она не была строгая, но какая-то вся плавная, доверительная, убедительная. У нее мы учились три года.

Еще воспоминания семилетнего возраста: я закатила жуткую истерику, не желая учиться читать. А мне уже купили темно-коричневый полированный письменный стол и водрузили на него полку с книгами. И вот у меня туго заплетенные косы, синие ленты в косах, а я ору, визжу и сползаю под этот стол, чтобы только не читать. И мама, вся бледная от негодования, с еще большей яростью меня заставляет. Может быть, мне хотелось, чтобы мама так же рассказывала и читала книги, как раньше. Но нужно было расти и учиться самой.

Моя мама, Фаина Усмановна Мухамадеева, училась в Казанском университете, на физико-математическом факультете. Но с еще большим удовольствием она занималась туризмом. Со своими сокурсниками они облазили пол-России. Помню, как мама рассказывала мне о далеком чуме на Алтае, где их накормили настоящим маральим мясом. Оно было сочное, розовое и очень вкусное. Мама никогда и нигде больше не ела такого мяса. Я просто представляла, как мама впивается зубами в это мясо и оно сочится во рту, а мама радостно поблескивает узенькими глазками, и все ее сокурсники и сокурсницы поблескивают и смеются, и наступает довольное умиротворение, радостное веселье и чувство, что ты наконец дошел и путь твой окончен. Это чувство приходит всего на несколько минут, и кажется, что именно в эти минуты ты, наконец, живешь. Но потом это чувство проходит... Оленеводы в чуме загадочно улыбались и какой-то охотник предложил маме остаться, но она не захотела, и они пошли дальше. Еще мама рассказывала о Марухкском перевале где-то в горах Кавказа, и что они шли по нему диким маршрутом. Но особенно нежно мама вспоминала про первые подснежники в лесах под Казанью, огромные, как пионы.

В Казани жила ее бабушка, Бибиджамал. Туда она переехала из поселка Муллолка Ульяновской области, где жила с моим прадедушкой — Абдрахманом, директором суконной фабрики. У них было девять детей. А родители мамы — мои бабушка Соня и дедушка Усман — встретились уже в Казани. Дедушка, Усман Хайрулович, закончил татарскую школу, его учили на муллу, но пришла Советская власть, и дедушка сознательно поступил в Казанский университет, а потом ушел в строительный институт, где и встретил мою бабушку. Когда родилась моя мама, они жили уже под Москвой, в Коломне, куда

попали по распределению. Мама вышла замуж и уехала в Северодвинск, на Белое море. Там родилась я.

Мама в Северодвинске работала на многих работах. Среди прочих она давала уроки математики для самых отстающих учеников. Потом, уже в Екатеринбурге, мама до достаточно пожилого возраста готовила учеников по математике, и они поступали в вузы. Но в детстве репетиторства ее я не помню. Помню, что, когда я пошла в школу, она еще работала в воинской части, а туда детям с семи лет вход был запрещен. Как-то раз, когда мне уже исполнилось семь лет, на новогодние праздники меня повели в эту воинскую часть. Помню КПП и страх, будто я делаю что-то запретное, тогда я еще какие-то стишки читала, но забыла их, и желание было одно — убежать. Так на всю жизнь и остались этот страх, осторожность и неприязнь к военным. Уже тогда я переживала войну как насилие. И никогда я не любила ни войну, ни военных. С детства я чувствовала эту внутреннюю раздвоенность нашего города, эту двусмысленность нашего положения ощущала всем своим маленьким сердцем. Мирный город, где все делалось для жизни, где почти не было преступности, но закрытый город, работающий на войну.

4

Мой папа, Владимир Александрович Золотков, происходит из вологодских зажиточных крестьян. В Нюксенецком районе на реке Сухоне жили и живут мои родственники. Там в деревне Ряшки жили его родители, а потом в деревне Устье-Городищенское жила моя бабушка Лида. К ней я несколько раз ездила в детстве. Но об этом — дальше. В пятидесятые годы их большую средняцкую семью раскулачили. То есть отобрали все, что они своим трудом заработали. А были они не кулаками, то есть на них никто не батрачил, а середняками, трудолюбивой большой семьей, потому и зажиточной. А когда жизни в деревне хорошей не стало, ушли мой папа, его дядя Веня и его сестра Рита, моя тетя, в город. Молодой военный город тогда разрастался на берегу Белого моря, вокруг монастыря Белозерского. Город этот, Северодвинск, был ровесником моему папе, основан в 1938 году. Одно время его Молотовском называли, но после репрессий снова переименовали в Северодвинск, в честь реки — Северной Двины, потому что стоит он на одном из рукавов реки, в устье. Мне нравится название города, слышится в нем и «родина», и «вина» и «север», то есть что-то родное, печальное, мужественное, выдуваемое ветром.

Вот папа с сестрой и поехали на заработки в город. Он и на знаменитом заводе подводных лодок поработал, и целину поднимал, шофером был. А потом уже, когда женился и я родилась... плохо, видимо, семье моей было... надорвался или по другой, более веской причине, ушел с завода в строительную организацию, может быть, и по совету дедушки Усмана, мамино папы. Не хотел, видимо, на войну работать. Да там, в строительной организации, всю жизнь и проработал, стал мастером — хозяином мастерской. Маленькая, я к нему в мастерскую приходила и ужасно гордилась им. Он там разные детали для производства делал: изготавливал ящички для деталей, газовую аппаратуру чинил, там стоял токарный станок, и я выпиливала на нем дырочки у лодочек из пенопласта, которые вырезать меня научил тоже папа. А по весне эти кораблики отправлялись в плавание: маленькие по лужам, а те, что побольше, — по котловану. Вот, видимо, поэтому и плаваю я теперь по жизни, хоть и трудно, но уверенно, не боясь жизненных невзгод и словно каждый раз встречный ветер преодолевая. Вот и путешествую по весям и странам, по книгам и по разным творческим и нетворческим профессиям. Поэтому, видимо, я и люблю пространство так же, как и время.

А в вологодской деревне остались наши корни, дома и частичка души. Внутренний покой, когда я снова обретаю его, сродни покою, который охватывает рано утром на реке Сухоне, когда туман и белой ночью рассвет. Просто все светлеет и светлеет, и душа на месте. А фамилия Золотковы, возможно, про-

изошла оттого, что шибко хорошо ткали наши мастерицы. Словно золотом ткут, наверное, говорили люди. Красиво. Я это хорошо помню, сама у бабушки ткала половики в горнице. А теперь вот словом тку. Фразы переплетаю. И даже стихотворные коврики получаются...

5

С папой из вологодской деревни приехала и его младшая сестра, тетя Рита. Я помню ее с самого раннего детства. С ними — тетей Ритой, двоюродными братом Мишей и сестрой Ириной — я и росла. Тётя Рита, родная сестра моего папы, работала мастером в техникуме связи.

Праздники в наших двух семьях часто праздновались вместе. Была еще многочисленная родня по папиной линии. Часто ходили к ним в гости. Но с Копалиными делили беды и радости. На праздники любили такую игру. На нитку подвешивали разные вкусности, и нужно было с закрытыми глазами ножницами срезать себе что-нибудь вкусенькое. Символично, не правда ли? Так нас воспитывали, и все эти игры так или иначе проявлялись потом в жизни.

Мы любили играть в прятки на лестничной клетке, особенно в день рождения. Высыпали дети и из соседних квартир. Трудно было улизнуть на узкой лестнице, карабкались по перилам кто как, но улизнуть было особенным кайфом. Летом на улице тоже было развлечение. Там стояло железное колесо, и я в нем скакала и прыгала как белка в колесе. Задача была увернуться от водящего и не наступить ногой на землю. В этой сноровке я достигала потрясающих результатов. Так теперь и кручусь между небом и землей.

Однажды осенью, когда уже подморозило, мне предложили лизнуть столб этого железного колеса и сказали:

— Увидишь, что будет ...

Больше я так не попадалась. Язык мой распух, и моих «доброжелателей» я готова была убить.

Летом во дворе мы любили играть в «шуку и шуренка», в «чай-чай, выручай» — носились по газону, благо он был достаточно большой, в «банки» на дороге, в «вышибалы»... Вообще, во дворе у нас была дружная компания. Помню, как играли в казаки-разбойники. Меня поймали и выпытывали, где штаб: завели в подезд и вели «провокационный» разговор: как бы между делом говорили между собой, что штаб там, мол, и там, а сами следили за моей реакцией. Я стояла себе спокойненько. В этой игре была интрига, и мы играли в нее с удовольствием, но редко. Это до нас, детей, в преображенном детском восприятии виде докатывалось эхо холодной войны. И именно мы, дети, передельывали его на наш, игровой и не страшный, детский лад, чтобы, вырастая, пытаться уничтожить его совсем.

С Копалиными иногда проходили и новогодние праздники, когда нас, троих детей, оставляли одних в квартире под ответственность Миши. Мишу мы уважали, он был старший, дома у него была своя кладовка, переоборудованная под маленькую комнату. Там стояли стол, лампа, все стены были оклеены спортивными картинками. Миша занимался лыжами, и серьезно. Потом он стал мастером спорта по лыжам и завоевывал места и призы, даже уезжал на соревнования за границу (в Сараево). В Новый год были свои, особые игры: мы вставали на голову на диване, бросались подушками, загадывали игрушку на елке, короче говоря, весь праздник принадлежал нам. А потом очень любили включать гирлянды, тогда вся комната становилась сказочной, и мы смотрели классные фильмы по телику, а наутро под елкой находили подарки: мандарины, шоколадные конфеты, яблоки. После Нового года подметали конфетти, серпантин, потом еще долго стояла елка, и елка была, как правило, настоящая.

А еще были закаты в полнеба пред- и посленовогодние, алые, по морозцу. Мороз градусов 15–20, и небо, очень красивое, голубыми и розовыми разводами, когда сумерки и когда утренний рассвет.

Я любила гулять на улице, возле своего дома. Мы устраивали крепости в сугробах и из этих крепостей обкидывали друг друга снежками, лепили снежную бабу, и я приходила с улицы вся мокрая, от пальто до трусиков. Всю эту одежду сушили на батарее, а на окне папа сделал широкий подоконник, и мама выращивала там цветы. Не отсюда ли у меня такая любовь ко всему растущему?

Когда мне было семь лет, я дружила с мальчиком Женей из 3-го класса, он жил на втором этаже, а мы на четвертом. У меня под столом обосновались пупсики, и мы с Женей играли в этих пупсиков: у них были квартирки, Женя подключал к батарее маленький игрушечный торшерчик, и у наших пупсиков был свет, а я шила им одежду. Но потом это дело мне наскучило из-за однообразия, и я перестала дружить с Женей.

В первом или во втором классе произошло мое первое сексуальное просвещение. Моя бабушка попросила одну девочку из нашего класса, которая ей нравилась своей обстоятельностью, объяснить мне, откуда берутся дети. И вот мы пошли в садик, тот самый, в который я когда-то ходила, где Таня очень немело, но авторитетно рассказала, куда встаетесь. Но я так и не поняла влияния от этого процесса на рождение детей. Однако было какое-то страшное и сладкое ощущение. Еще Таня рассказала стишок про пещеру Арара. Стишок я поняла лучше. Потом уже, в 6-м классе, нам это объясняли на уроках ботаники, а в 7-м — на уроках анатомии.

6

Примерно в 8–10-летнем возрасте я впервые столкнулась со смертью. У нас дома был праздник, и нас, детей, отправили на улицу, а там похороны. Миша залез на сугроб, увидел, куда идет процессия, и позвал нас посмотреть покойника (а громыхал траурный марш, и так было страшно, так тоскливо). Мы побежали за процессией. Это был мужчина лет пятидесяти, весь белый. Мне было непонятно, но что-то неотвратимое, склизкое, страшное вползло в душу. Мы прибежали домой, а там веселье: «Молдаванку» поют. Так мне и запомнилось: «Молдаванка» — это смерть. Не могу слушать эту песню без внутренней дрожи. Все веселятся, а там — смерть. И даже дело не в том, что было жалко того покойника, а в том, что потрясла смерть вообще, сам факт ее существования на земле.

Как-то утром, на рассвете,
заглянул в соседний сад,
там смуглянка-молдаванка
собирает виноград.

Я краснею, я бледнею,
захотелось вдруг сказать:
«Станем над рекою
зори ясные встречать».

Словно эта молдаванка и есть смерть, а я стою и постигаю эту любовь к смерти мужчины там, над рекою. С нею, с молдаванкою, со смертью, словно вот она, рядом.

В детстве я училась музыке. В музыкальную школу меня не взяли — не было слуха. Сначала я училась музыке у учителя пения. Он отвратительно поставил мне руку и научил читать по нотам. Помню смешанное чувство от этих уроков. Визуальное. Огромный потолок нависает надо мною, пианино и учителем, какой-то хаос, дисгармония вокруг: шкаф, окно, нагромождение предметов и звуков. А в 3-м классе меня отдали в музыкальную студию. Я довольно неплохо научилась читать с листа правой рукой и хуже левой. Мне нравилось играть. Я играла Хачатуряна, Бетховена, Баха, «Вальс» Грибоедова, мазурку.

Играла и «Полонез» Огинского, но он не получался, он получался только у Иринки, которая занималась в музыкальной школе. Из Баха я знаю наизусть одну-единственную мелодию. Это было не очень обязательное образование, и мне нравилось заниматься музыкой. Однако техники у меня не было никакой. В 8-м классе я училась частным образом у учительницы музыки из музыкальной школы. Видимо, она была профессионал в своем деле, она научила меня думать и чувствовать за пианино и играть именно свои переживания и думы через музыку, чтобы пальцы стали проводником моих чувств. Но техники у меня так же не было никакой, просто иногда я слышала в своей игре нечто огромное и щемяще грустное. Когда у меня получалось это, учительница тоже это слышала и не насиловала меня, а просто садилась рядом и играла сама. Мы больше думали на занятиях, чем говорили, больше слушали, чувствовали. Кстати, у нее был сын моего возраста. Он никогда не мешал нам, просто проходил очень редко через комнату с пунцовыми щеками, я даже не помню черты его лица, просто он присутствовал, и я знала об этом, играла и для него.

7

Все это происходило в учебное время, в Северодвинске, а на лето меня отправляли к маминим родителям в Подмоскowie, в Люберцы и в Шевлягино на дачу, к бабушке Соне и дедушке Усману. И там протекала вторая половина моей жизни, которая тоже предопределила мою судьбу. В Шевлягино появлялось чувство, будто ты не один, будто находишься в центре событий, в центре мира. Хорошее чувство. Звуки, запахи — все не страшное, домашнее. Я словно чувствовала дыхание Москвы, России: разговоры бабушки и дедушки, приезды из Москвы москвичей на дачу, общение с другими ребятами из Москвы, Люберец. Дедушка приезжал на выходные. Мы жили на даче с бабушкой, иногда с мамой. Бабушка и дедушка были инженерами-строителями. Дедушка был главным инженером то ли Люберецкого округа, то ли какого-то района Москвы.

Дедушка был волевой человек, очень умный и очень любил нас, внушек. А ще он был не без лукавства: ляжет на кровать и просит: «Юля-Анна, Анна-Юля, принесите мне микстуру». — «А где?» — «Там, в бутылке». Мы приносили бутылку вина, доставали ложку и по столовой ложке выдавали ему «микстуру». Он говорил: «Не так» — и пил из горлышка. А мы кричали: «Так-так!» — и снова по столовой ложке. Дедушка пил, но в меру. Бабушка на него сердилась. Иногда после дачи мы заходили в «стекляшку»: нам, детям, покупали «Холодок», а дедушке «микстуру». На даче дедушка оттаивал. Он спокойно стругал какую-нибудь доску, строил второй дом, рыбацкий. Тут же рядом возились и мы, строили свой домик под березой, таскали у дедушки кирпичи и доски. В построенном дедушкой рыбацком домике иногда жили дядя Рустем и тетя Таня, родители Ани, и их гости. Я их не любила. Они были мещанской подмосковной интеллигенцией. Появлялись шашлыки, купальники, косметика и какие-то пустые, не те, разговоры о тряпках, о блате, о дефиците и прочей дребедени. Я чувствовала, что это — не мое.

Бабушка с дедушкой очень любили друг друга. Я редко потом встречала такие взаимоотношения. Был между ними какой-то лад. Я никогда не чувствовала, что они старые, они были уже такими родными, как брат и сестра. Чуть что, дедушка кричал: «Сонь, а Сонь, где мои тапки?» — или что-нибудь еще в этом роде... И потом я всегда знала, когда настоящее чувство, а когда так, подделка.

Помню, в детстве я любила читать и слушать сказки: братьев Grimm, Андерсена, Гауфа и вообще волшебные сказки, где роза и соловей разговаривали, где происходили чудеса. Из поэзии нам в детстве читали Агнию Барто и Корнея Чуковского. И еще я запомнила песенку Хармса: «4 на 4, а потом еще 4». Тогда я не знала, что это Хармс. И еще помню очень «веселую» песенку: «Из дома вышел человек... с веревкой и с мешком и в дальний лес... отправился пешком...» Но в детстве песенка не казалась страшной, смысла ее мы тогда не понимали. Гораздо

страшнее была сказка про крокодила, про Лимпомпо и про тараканище: «Принесите мне ваших детушек, я их за ужином скушаю»... Жуть.

На даче у нас был проигрыватель, и мы слушали пластинки: «Хоттабыча», «Мальша и Карлсона», «Голубого шенка», «Гадкого утенка». Еще к воспоминаниям детства относится сказка «Шурале» (Г. Тукая). У нас была большая книжка с картинками, которые я любила рассматривать. Самый страшным казалось состояние, когда шурале-леший зашекочивает героя (а значит, и тебя) до смерти. И было какое-то облегчение, когда дровосек перехитрял шурале и заземлял ему его длинные пальцы. Я прямо-таки чувствовала это и с содроганием ликовала. Всё, теперь никто не зашекочит тебя до смерти. И еще там был замечательный конец. Дровосек назывался «вчерашним днем». Нечисть спрашивала, кто тебя обидел, а шурале плакал и отвечал:

— Вчерашний день.

— Так что ты нынешним орешь? — спрашивала нечисть.

А уже повзрослев, я читала «Ходжу Насреддина». Мне нравилась эта веселая и мудрая личность, всегда заступающаяся за простой народ.

8

Помню первый урок свободы. К нам приехала сестра Эльвира из Мариуполя, и Аня стала играть с ней. Ощувив себя одинокой и свободной, я отправилась на улицу между дачами. Там неизвестно откуда взявшаяся девчонка с соседней дачи играла со своей собакой. Эти соседи часто ездили за границу, в Монголию, и девочка эта сразу мне показалась просто другой. В то время мы воевали с мальчишками. Уже в течение нескольких лет мы обстреливали друг друга боярышником, поливали из брызгалок, бросались землей и, так сказать, ходили «стенка на стенку». И вот с этой девчонкой у нас происходит непринужденное знакомство. Тут появляется один из мальчишек, Димка, и она и с ним начинает такой же непринужденный разговор. Короче говоря, мы все трое дружимся. Какое-то странное чувство интереса друг к другу и ко всему миру овладевает нами. И мы решаем сбежать из своего маленького мирка: от сестер, от мальчишек, от обыденности... Мы заключаем такое братство. Встречаемся, убегая ото всех, исчезаем за территорией дачных участков. Нам хорошо друг с другом, мы увлечены друг другом и пьянящим чувством независимости, мы дружим.

Окружающие тут же заметили эту необычную дружбу. За столом, заслышав сдавленный крик «петуха», захватив с собой горсть печенья и пробурчав о том, что я уже сыта, выскальзываю на волю. Вдогонку слышатся каверзные вопросы и подколы, но я бегу к своим новым друзьям, и мы отправляемся исследовать окрестности: прыгать на стог сена, хрустеть яблоками-дичками, слушать Олены рассказы о других мирах, и вообще мы абсолютно счастливы. Этот дух приключения, эти тайны... Он не покидал меня потом на протяжении всей моей жизни. Оля уехала, но новый взгляд на мир остался. Я стала немного другой.

9

И как раз в это время, а мне было около 12 лет, бабушка дарит нам с Аней, двум своим внукам, путешествие по Волге.

Сначала мы поехали в Казань поездом. Там жили наши родственники, и они помогли купить путевки на теплоход до Астрахани и от Астрахани до Москвы. Тогда я впервые познакомилась с Романом и Машей, троюродными братом и сестрой со стороны мамы. Ромка был моим ровесником, живым и красивым мальчишкой. Между нами сразу установились какие-то приятельские и заинтересованные отношения. Я чувствовала себя с ним на равных. Мы пробирались между лодок по гальке к Казанке, пахло рекой и романтикой. Я чувствовала что-то очень, очень родное. Ромка учился в художке, я чувствовала ту же чуткость, как тогда с Олей и Димкой, но еще какое-то очарование.



Потом мы гуляли по вечерней Казани, и был обалденный оранжево-багровый закат. И какой-то немец, заговорив с тётей Зиной по-немецки, подарил нам, детям, по значку с Карлом Марксом. Это тоже потом всплыло в моем будущем. Я влюбилась и вышла замуж за ученого-марксиста, который так же верит в будущее марксизма, как мой дедушка верил в коммунизм.

А вечером в Казани собрались многочисленные казанские родственники по маминной линии. Были расстегаи с мясом, и нам дарили подарки. Мне — бажовские сказки, Ане другую книжку и на выбор обоим: кулончик или «Трех толстяков» Олеши. Я выбрала книжку, а Аня — кулон. Какая ирония или воля судьбы заключалась в этом подарке! Меня попутным ветром занесло на Урал, где я и живу уже много лет, как будто именно здесь я должна что-то понять и испытать. Здесь я училась, здесь встретила своего любимого человека. Более того, книги стали моими лучшими собеседниками, и все, что у меня есть лучшего в жизни, это благодаря им. А Аня очень рано вышла замуж и стала после смерти бабушки и дедушки их единственной наследницей. Не знаю, принесло ли ей это счастье, пусть бы это было так. О дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю. Но мне кажется, что все-таки мне досталось их лучшее наследство, то, что ничем не измерить, — любовь к знаниям и особое понимание любви.

Потом мы отправились в путешествие по Волге. Мы посещали каждый город. Были в Волгограде, где я запомнила Мамаев курган. В Астрахани купили рыбы и черной икры (благо там она была дешевая). И, конечно, меня потрясли Волга, теплоход, просторы, чайки, летящие за теплоходом, и то же чувство свободы... Текучее, как река...

На теплоходе я влюбилась в мальчика. Мы так и не заговорили, а он познакомился с Аней, и я жутко ревновала. Это была какая-то странная влюбленность, как жажда в полдень. Нездоровая и неискренняя. Потом путешествие кончилось, и мы вернулись в Москву. Так и осталось в душе смутное чувство: великолепные просторы, а сердце ноет, хочется плакать, бежать, любить... только влюбишься, а любовь оказывается обманом, праздным развлечением, и влюбляются совсем не в тебя, и любят совсем не за то, да и не любовь это, а так, праздное волокитство.

10

Очень хорошо помню еще одну поездку, к бабушке Лиде, папиной маме. Она жила в деревне Устье-Городищенское в Нюксенском районе Вологодской области. Мы с папой добирались туда долго. Папа меня чуть не потерял тогда. Он оставил в поезде пиджак с документами и побежал в вагон за пиджаком, а я стояла на платформе и плакала. Мне было 10 лет, и я думала, что меня бросили навсегда. Но все обошлось. В Нюксенице жил папин брат со своими дочерьми и женою. Помню, стояли дома по косогору, их дом был деревянный, маленький, сиротливо жался полисадничек к дому, забор был с облупившейся краской. Помню, мы ели черный хлеб, ярко светило солнце, синело небо... и дядя Виталий был горько пьян, а жена его бранила, и мое сердце сжималось тоскою.

Потом мы еще три километра плыли по реке Сухоне на лодке. Дом бабушки стоял на высоком берегу, и во дворе рос огромный тополь. Каждый год туда съезжалась куча всякого родственного народа, ставили сенокос, были Копалины, Теробовы. Помню, мужчины забирались на этот тополь и рубили ветки у тополя — заготовка овечкам и барашкам на зиму. Я любила ободрать у тополиной веточки кожу и погрызть белый стволик. В нем был очень вкусный сок. У бабушки Лиды всегда были пироги и парное молоко. Особенно было вкусно топленое молоко с румяной корочкой. У бабушки Лиды было весело. Спала я, кажется, на сундуке или на скамейке у большого, во всю комнату, стола. Помню тетю Риту, после отца там бывшую для меня самым близким человеком. Она не делила нас, детей, на своих и чужих. Мы все были свои. Она что-то делала по хозяйству, мы тут же крутилась. Иринка и Миша в деревне

просто выросли, каждое лето — туда. И сейчас, уже с семьями, каждое лето — туда. Бабушка Лида была человек простой и красивый в этой своей простоте, чувствовалась в ней мудрость крестьянская и благородство. Она была очень живая и трудолюбивая, до старости держала корову, овец штук двадцать, кур, петухов. Жила в деревянном доме и сама ткала, сама пряла, сама вязала. Вся крестьянская работа была ей не чужда. (Будучи постарше, я тоже у нее соткала коврик.) И был у бабушки Лиды веселый нрав и душевное здоровье, как и у ее сына — моего отца. Вообще, очень цельные, надежные люди.

Как-то решили мы с папой наутро наловить рыбы на Сухоне. Встали часов в пять, еще туман стоял. Взяли удочки... Я надела короткие резиновые сапожки, платье короткое, чтобы не замочить. И пошли. Утром рано встать в деревне — благодать. Душа поет. Какая-то радость пузырьками в сердце. Мы пошли далеко на Сухону, а не на маленькую речку Городищенку, что за домом под горой. А тишь на реке, рыбаков на том берегу слышно. Ну, насадили червяков, закинули удочки. И надо же: я первая рыбу поймала, папа даже удивился — хариуса, большого серебристого хариуса. А папе все окушки да ершики попадались — на уху. Стоишь в воде, течение, если далеко зайдешь, сносить начинается. Река полноводная, быстрая, а ты знай себе ловишь, свой рыбацкий кайф испытываешь. Хариус — рыба замечательная, вкусная. До сих пор ощущаю ее вкус. А еще помню, в Северодвинске папа камбалу приносил с подводного лова. Оттуда, где Параниха в Белое море вливается. А здесь, на Елизавете, речка Патрушиха. Все, что ли, речки на окраинах так называются?.. И водятся в ней раки! Да, вот какой поворот жизнь порой делает. Просто крюк какой-то... И не сорваться ведь, разве что осторожно слезть с крюка и уплыть своей непостижимой дорогой, как тот хариус, которого я поймала еще в детстве.

Еще из впечатлений деревенского детства запомнился сенокос, но это когда мне уже лет пятнадцать было. Мы готовили с тетей Галей Тереховой чай и завтрак для тех, кто сено косил. Сидим мы, значит, под сосной, душевно так разговариваем. И сердце чувствует доброго, родного человека... А еще мы с Иринкой и Мишей на дискотеку в клуб ходили. Я, кажется, так и просидела на скамеечке. Это была чуть ли не первая дискотека в моей жизни. Обратились, уже смеркалось. А ощущение такое — никого не страшно. Все здесь свое, не страшное. И небо такое близкое, домашнее... луной освещенное. Так это ощущение бесстрашия и осталось со мною на всю жизнь. Даже в глухой Сибири потом, в археологической экспедиции, когда тонула, не было страшно за свою жизнь. На трассах и дорогах России и Восточной Европы не было страшно. Во время болезни, в самый ее пик, не было страшно. Было больно, мучительно, тоскливо, но не страшно. В самых страшных ситуациях в моей жизни, под дулом пистолета, — не было страшно. Были минуты слабости, но не страха. И куда-то ушло все это в последнее время, стала такой трусихой...

С Иринкой я связываю мгновения нежности. Все-таки она была младшей сестренкой и любимой. Но младше она была всего на полгода, и на каждый свой день рождения она говорила: «Ну вот, опять я тебя догнала». В тот десятилетний приезд в деревню я запомнила, как мы детьми на задворках огорода пекли картошку по вечерам. Еще было огромное темно-синее небо над головою, все в звездах, и мы искали ковш Большой Медведицы и Полярную звезду, так же, как зимой в Северодвинске, и так же, как с мамой в планетарии в Москве. Там, в деревне, в Северодвинске небо и звезды были настоящие. А в Москве в планетарии — искусственные. Может быть, так и получалось, что жила-то я дома, в Северодвинске, потом в Екатеринбурге. А под Москвой в детстве только отдыхала, читала, училась, готовилась к «настоящей» жизни...

Однажды в 15 лет я поехала в пионерский лагерь в Красноборск Архангельской области. Сама напросилась, отказалась в Люберцы поехать. Сказала, хочу свой край узнать, своих ровесников. А лагерь был из северодвинских трудных

подростков. Я с ними не встречалась в Северодвинске, по разным дорогам ходили. И вот приезжаю я туда, а там правят эти дети из неблагополучных семей — «крутые». И устанавливают свои порядки. А «нормальных» детей набралась одна палата — № 6, человек 6–7, а остальные две палаты, человек 30–40 девчонок и парней, — трудные. Конечно, это было жестокое испытание отрочества. С нами никто никогда так не обращался. Они издевались, силу свою показывали, жили совсем по-своему. Командиром 6-й палаты выбрали меня как самую старшую. Но не все захотели остаться в этом лагере. Две девчонки из нашей палаты позвонили родителям и попросили их увезти. Прибежали вожатые, просили их остаться, деньги же плачены... Они их даже слушать не стали. Девчонки спросили меня, не увезти ли и меня. Но в нашей палате были еще две девочки, младше на два года. Они сказали: «Юля, если ты уедешь, они нас совсем забудут». И я осталась. Это были самые мрачные времена моей подростковой жизни. Один раз «они» упросили меня дать на ночь свою куртку, якобы моя лучше, теплее. Я дала, а наутро получила ее всю в винных пятнах. Когда во время дежурства я мыла полы в коридоре, какая-нибудь девица высовывалась, и начинались насмешки. То меня как командира палаты заставляли отчитываться, отдавая салют по-пионерски, начальнику отряда. А это был тот парень, которого я ненавидела всеми фибрами своей души. И я, запинаясь от стыда и ненависти к себе, что-то там бурчала, а «они» дружно подсказывали, как надо отдавать салют, вполне искренне желая, чтобы я все делала по правилам. В этом лагере «они» подчинялись только некоторым взрослым. «Они» так и остались «они». Хотя по отдельности некоторые говорили со мной вполне дружелюбно и даже хотели подмазаться. Но вместе «они» были стаей. А мы какими-то осколками другой, неведомой им жизни. Мы жили не по их законам, и они хмуро на нас смотрели, готовые при случае разорвать нас в клочья.

Произошел случай, за который мне до сих пор стыдно. Завелась у нас девчонка — вор. Воровала у всех — и у нас, и у них. Когда ее раскрыли, то устроили ей в той палате суд. Толкали по кругу, и нас позвали «судить». Я не выдержала, заступилась за нее. Воровала она не хлеб, а безделушки: заколки, невидимки... Она попросилась в нашу палату, говорила, что ее там совсем забудут. Мы посоветовались и под впечатлением расправы — согласились. Она стала жить в нашей палате. Но потом она снова всех обворовала. И тогда мы уже не смогли за нее заступиться. И взрослые не пришли на помощь. И мы уже ничего не смогли поделать с волчьими законами стаи, к которой принадлежала и она. Мы просто горько и с досадой отвернулись.

Было еще событие. Девчонки из «той» палаты бросили в туалет (толчок) котенка. Когда мне об этом сказали, у меня, помню, была истерика. Я на кого-то орала, плакала и убежала в лес. Я долго не могла прийти в себя. В лесу было хорошо, и совсем не хотелось возвращаться в лагерь. Я пришла уже к вечеру. Меня искали, и меня ждал сюрприз. Те две маленькие девчонки из нашей палаты сказали, что котенок выплыл и они его выкупали. Умницы, они были просто молодцы! Вот он сидел на подушке и дрожал. Но он был живой и спасенный, как и наши души в этом царстве беспредела. Потом я привезла его домой. Назвала его Дымкой. И он долго жил у нас.

Был еще какой-то поход, и ночевка в палатках, и какой-то потешно-горький языческий обряд. И снова насмешки, издевательства и слезы. Это было суровое испытание. Я поняла, что, когда ты не защищен, — это страшно, что взрослые не всегда могут тебя защитить, и приходит время, когда от тебя самой многое начинает зависеть, приходит время решать что-то самой. Но пришла и жуткая, необъяснимая тоска. «Что-то подгнило в датском королевстве...»

Так я расставалась с детством.

*2002–2011 гг.
Екатеринбург*